

Д.Л. БАШКИРОВ

МЕТАСЕМАНТИКА «ВЕТОШКИ» У ДОСТОЕВСКОГО

На связь с гофмановской и гоголевской традицией мотивов двойничества и подмены героя в повести Ф.М. Достоевского «Двойник» указывали еще современники писателя. Однако порой, чем скорее «просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности» (1; 206) господином Голядкиным напоминают умопомрачение Ансельма и роковую корзину с яблоками, тем явственнее безразличное отношение автора к подобным эпизодам. И чем быстрее взаимоотношения между Голядкиным-старшим и Голядкиным-младшим вызывают в памяти пару крошка Цахес — Бальтазар, связь которых основана на бессовестном присвоении уродец красоты и различных дарований Бальтазара, тем поразительнее мысль о неправомерности этой ассоциации, так как «стыд» господина Голядкина-старшего, «ужас» господина Голядкина-старшего, «кошмар» господина Голядкина-старшего заключается как раз в том, что «другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого» (1; 147), и между ними нету той пропасти, которая разделяет их литературных двойников, хотя эпизод с присвоением «требуемой начальством» бумаги (1; 164) в повести Ф.М. Достоевского опять-таки настойчиво ассоциируется с тем, что происходит в повести Гофмана (правда, в данном случае обращает на себя внимание тот факт, что именно Голядкин-младший одаряет предварительно Голядкина-старшего «стишками»). Голядкину, не наделенному никакими завидными достоинствами, разве что кроме тех, о которых он сообщает Крестьяну Ивановичу, или нечего отдавать своему двойнику, или надо отдавать все. Вот тут и возникает диссонанс в перечисленных выше ассоциациях, свистящий согласный, отличающий космическое от комического, как заметил когда-то Вл. Набоков.

Мы предлагаем взглянуть на это «все» или «ничего» через одно из ключевых слов в повести, определяющее в сознании господина Голядкина суть его взаимоотношений с двойником или суть его взаимоотношений с миром после появления двойника. Таким словом является пресловутая «ветошка».

«Петербургская поэма» начинается со сцены, ставшей после Гоголя почти канонической, со сцены одевания, но для повести Достоевского точнее будет — переодевания героя и переодевания его слуги. Выделим здесь:

герой «лепит» себя в соответствии с требованиями общества. И деяние это дисгармонично. В создаваемый образ вторгается зримое несоответствие, чужеродность. Может быть, именно поэтому в новые одеяния первым облачается слуга, одеяния оговоренно чужие, ветхие и несовпадающие с фигурой Петрушки, но зато совпадающие с образом слуги, какой сложился в сознании Голядкина опять же под воздействием его житейских впечатлений. Эта оговоренная чужеродность накладывает свой отпечаток и на сцену облачения в парадный наряд хозяина и закрепляется эпизодом посадки в наемную карету. Воссоздается реальность подобия того, что заставляет отказаться Голядкина от природно свойственного ему. Общество, «среда» выстраивают по свосму образу и подобию господина Голядкина, подменяя искусственным началом начало, данное от «рождения». Сцена «переодевания» молниеносно переходит в сцену окончательного отказа «выстроенной» социальными силами личности от «естественного» господина Голядкина. В карете, свернувшей на Невский проспект, совершается «подмена»: «...или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною...» (1; 113) — восклицает лихорадочно несчастный, встретив ужасный взгляд Начальника, олицетворяющего металлическую твердость социальной пирамиды. Эта пирамида вынуждает «естественного человека» перелицовываться и «глядит во все глаза» (1; 113), чтобы тот не улизнул. И он действительно пытается скрыться в комнатах доктора Рутеншпица, где сбивчиво сообщает ему или скорее себе, что «подмены» еще не произошло: «двуличностей не жалею; клеветою и сплетнею гнушаюсь» (1; 117), что в нем еще сильны «естественные» начала, «рожденные» именно в нем, Якове Петровиче Голядкине, и поэтому в своем роде единственные. Не потому ли так упорно герой будет возвращаться на протяжении всей повести к мысли, выраженной в фразе, адресуемой Крестьяну Ивановичу: «Маску надеваю лишь в маскарад...» (1; 117); будет она повторена и в данном эпизоде в различных вариациях: «...и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится» (1; 119). Но «подмена», которая, как кажется герою, произошла с «некоторыми лицами», произошла уже с ним.

После неисполнившегося желания господина Голядкина «жить, как рыба с водой, как братья родные» (1; 157) со своим двойником, желания, казалось бы, вполне исполнимого в состоянии пьяного куража; после ночного сна забвения наступают утро и день бурного переживания совершившейся «подмены». Со всей очевидностью открывается герою суть происшедшей катастрофы. Осознание того, что его личность кто-то стремится подменить, рисуется господину Голядкину сперва как картина смертельной угрозы, исходящей от окружающих его людей, от общества: «на что именно метят все эти народы» (1; 161), — размышляет он за утренним чаем. Но ужас нарастает, и тогда в тексте появляется слово «ветошка».

Обращает на себя внимание следующее: во-первых, «ветошка» возникает в сознании героя впервые в тот момент, когда происшедшая «подмена» переживается с особой остротой и очевидностью, и далее отражает уже имен-

но предельные состояния отчаяния господина Голядкина. Во-вторых, с «ветошкой» связано такое переживание героем «подмены», при котором ужасы и страхи господина Голядкина не имеют социальной обусловленности, а совершенно безотчетны, причем смысловой контекст, в котором «ветошка» возникает впервые в мозгу героя и который определяет состояние его личности в момент осознания «подмены», при последующих частых появлениях этого слова в тексте только варьируется, но уже не изменяется. Контекст дальнейших появлений «ветошки» передает лихорадочное, болезненное, безотчетное состояние сознания героя, а само слово, точнее, та частота, с которой оно встречается в тексте, похоже на удары пульса умирающего: это слово то совершенно исчезает, то заполняет собой целый абзац: «... вот так непременно захотелось обратиться к ветошке господина Голядкина...» (1; 168-169) — и опять пропадает. Повторим, в какой-то мере это передает то, что «подмена», появление двойника — событие совершенно иного, более страшного порядка, чем все химеры вместе взятые, пугающие господина Голядкина. И в сознании, а точнее в подсознании героя, этот страшный смысл «подмены» связывается именно с «ветошкой». Любопытно и то, что «ветошка» не встречается ни в одном из писем господина Голядкина, хотя эмоциональное состояние, в котором он их пишет, наиболее приближено к тем ситуациям, при переживании которых в его мозгу и появляется «ветошка». Присмотримся к бытованию этого слова в древнейших пластах русской литературы.

Эпизод, в котором единственный раз в «Повести временных лет» встречается «ветошка», по-моему, способен выявить некоторые аспекты темы «подмены» и двойничества в повести Ф.М. Достоевского. В отрывке повествуется о противоборстве Яня Вышатича с волхвами, кудесниками. Летопись сохранила следующий диалог: «Янь же сказал: «Поистине ложь это; сотворил Бог человека из земли, составлен он из костей и жил кровяных, нет в нем больше ничего, никто ничего не знает, один только Бог знает» (последние слова стоит подчеркнуть. — Д.Б.). Они же (волхвы. — Д.Б.) сказали: «Мы знаем, как человек сотворен». Он же спросил: «Как?» Они же отвечали: «Бог мылся в бане и вспотел, оттерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил Стана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил»¹. Здесь мы остановимся, так как интересующее нас найдено. «Ветошка» одухотворенная и неодухотворенная. Сходные во всем и различающиеся только по еле заметному действию Творца, вдохнувшему в одну из них жизнь. Скрытое движение творческого акта, на который способен только Бог, невидимое и непонятное никому и не доступное никому, кроме него: и какая пропасть пролегает между двумя «ветошками». Только дыхание, сопровождающееся почти неуловимым движением размыкающихся губ, и такой же искусный во всем Сатана, но не способный именно на это последнее движение — и миру являются Жизнь и только подобие жизни, создание Творца и создание ремесленника. И этот ряд можно продолжить самонадеянностью самозванного пророка, заявляющего: «Мы знаем, как человек сотворен», — подразумевая «ветошку», и скромное перечисление

христианином составов этой «ветошки» — он знает и то, о чем еще можно знать: «нет в нем больше ничего», — и о святая святых человеческой природы, о том малом, недоступном и важном, что различает «ветошку» и человека: «Один только Бог знает».

Выбор ключевого слова для обозначения «подмены» и двойничества Достоевским поразителен. Слово передает ритм сознания и поведения несчастного титулярного советника, который соответствует движению «ветошки» от Сатаны к Богу и наоборот. Но если для героев позднего Достоевского есть свобода выбора Бога или Сатаны, то для господина Голядкина выбора нет, он «ветошка» в буквальном смысле слова, утратившая благодать. Двух «ветошек» нет и не было, есть лишь одна, ибо человек не может знать, чем они отличаются друг от друга, он может только быть или не быть. И внутренний динамизм «ветошки» как раз тогда и разрывает сознание героя, когда от его ровного и незаметного «быть» отделяется и становится видимым «не быть». Смысл проблемы «подмены» и двойничества, заключенный в слове «ветошка», можно проиллюстрировать отрывком из гимна Ефрема Сирина:

Древле Создателя рука,
вылеплявшая тело из земли,

устояла его затем,
чтобы воспело оно Творца своего;

но пребывала кифара немой,
и безмолвствовали гласы ее,

покуда, творенью полагая конец,
не вдунул Создатель в уста ее

душу, способную воспеть песнь,
и струны звука не обрели:

так телом овладела душа
и премудрость чрез тело нашла язык...²

Богомиловская версия о создании человека из ветошки в «Повести временных лет» вложена в уста волхва. Но и тема двойничества в повести Ф.М. Достоевского «Двойник» в ряде эпизодов касается мотива колдовства. Можно вспомнить одно из очередных «прозрений» господина Голядкина по поводу причины появления двойника: «...так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, — глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!)...» (1; 188).

С темой «подмены», занятия места в жизни не по праву и отношения

между старшими и младшими братьями связаны самые трагичные эпизоды в древнерусской истории и в древнерусской литературе. как, например, убийство св. Бориса и св. Глеба Святополком Окаянным. Неслучайно родоначальник всего зла в Древней Руси по летописи — сын двух отцов; скрывая смерть отца, он «подменяет» его на престоле, и это место в жизни, занятое не по праву, а с помощью «подмены», становится в русской литературе символом крушения в человеке нравственного начала, ведущего, как следствие, к самым тягчайшим преступлениям. В письме к Вахрамееву господин Голядкин рассматривает происходящее как «неблагородное фантастическое желание вытеснить других из пределов, занимаемых ими другими своим бытием в этом мире, и занять их место...» — и далее продолжает: «...такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная.» Завершается письмо фразой, в которой акцентируется внимание именно на нравственной стороне двойничества: «... идеи мои, выше распространенные насчет *своих* мест, чисто нравственные» (1; 184). Этика господина Голядкина-старшего, протестующего против своей ветхой природы и себя как «ветошки», рождена чувством опасности, исходящей от двойника. Но до этого его мысль шаг за шагом отбрасывает как шелуху мотивы социальной и психологической патологии в проблеме «подмены». В XIII главе слово «ветошка», появившись, тут же исчезает, но стоило только герою, следуя каким-то совершенно непредсказуемым ассоциациям, связать происходящее с ним со Смутой, как «ветошка» становится обязательным словом в нескольких абзацах текста, и эта ее гегемония завершается предложением, в котором она встречается семь раз (1; 168-169). Вот это замечание господина Голядкина-старшего, которое привело к такому бурному появлению «ветошки» в тексте: «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством...» (1; 167-168). В тексте «Петербургской поэмы» появляется указание на вполне конкретную историческую эпоху, когда самозванцы, двойники, присвоившие себе чужую судьбу, «подменившие» действительно существовавших людей, личности вместо личностей, совершали чудовищный акт, отрекаясь от себя и вместе с собой от того таинственного, боговдохновенного, нерукотворного, что было дано им от рождения, «славы ради и княжения мира сего». Они разрушали нравственный, духовный строй в себе и вокруг себя, поражая современников и потомков зияющей пустотой, оставленной ими. От тех времен сохранилась поговорка: «никто, и звать его никак». Отказавшись от облика, полученного при рождении, от самого рождения, присвоившие себе право быть самими званными в жизнь и в мир, они оставили после себя смуту и хаос. Для нас же интересно наложение «подмены», случившейся с господином Голядкиным, на конкретную историческую эпоху.

Во времена Смуты в древней русской литературе появились два характерных произведения — «Повесть о Горе-Злочастии» и «Повесть о Савве Грудцыне». Появление двойника в повести Достоевского в общих чертах напоминает сцену явления Савве Грудцыну беса в образе его брата. В преддверии этого события чувства обоих героев напряжены до предела: «...господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа...» (1; 139); «Савва же непрестанно тужа и скорбя о проклятой жене оной и день от дне от тоя туги истончи плоть свою, яко бы некою великою скорбью болел.»³ Обоих окружает пустота: «С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было...» (1; 139); «...и идяше един по полю и никого же пред собою или за собою видяше...»⁴

При сопоставлении другой повести XVII века «Повести о Горе-Злочастии» с «Двойником» обращают на себя внимание характерные черты, сближающие поведение двойника и Горя. Первый «шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок» (1; 194), он то наводит ужас своими повадками на господина Голядкина-старшего и возмущает ими его, то обманывает и располагает по отношению к себе. Нечто подобное прослеживается и в поведении Горя-Злочастия. И главное — присутствие и Горя при Молодце и двойника при Голядкине необратимо, избавиться от них невозможно.

В «Поношении судьбы» Георгия Писиды есть следующее описание:

Вот что зовется ложно у глупцов Судьбой.
Представь в уме плясунью непотребную.
Что с шумом и кривляньем лицедействует,
Изображая бытия превратности
Обманчивым движеньем суетливых рук:
Срамница млсет, вертится, ломается,
Подмигивая томно и прельстительно
Тому, кого дурачить ей взбредет на ум,
Но тотчас на другого обожателя
Все с той же блудной лаской переводит взор;
Все обещает, все подделывать силится,
Но ничего не создает надежного...⁵

Оно сопоставимо с одним из лицедейств Голядкина-младшего: «Оскаблившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем «доброе вчераше», втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен <...> пятого, и, вероятно, своего лучшего друга, чмокнул в самые губки...» (1; 194-195). Сближение образа Голядкина-младшего с образом «судьбы» Георгия Писиды, в котором отразились представления о суетности человеческой жизни, через образ Горя-Злочастия из повести XVII века даст возможность увидеть в двойничестве явление, суть которого заключается в стремлении человеческой личности к размыванию ее индивидуальных качеств, что

позволяет исчерпывающе представить человека как совокупность неких совершенно стереотипных ходов и поступков. Этот житейский стереотип прочно подчиняет героя себе, ничего не оставляя от него самого. В приведенной выше сцене из повести Достоевского человек не только низводится именно до человека-«ветошки» — «был его превосходительством **употреблен**», — но и пародийно повторяется творческий акт оживления «ветошки»: в действии «чмокнул в самые губки» можно увидеть окарикатуривание акта вдыхания жизни. В привычном жизненном укладе господин Голядкин-старший или сам себя начинает ощущать самозванцем (прячется за печкой) или присутствует при крушении мира — все распадается, не связывается в одно целое, как истлевшая ветхая тряпица, нарушается даже естественный порядок дня и ночи, сна и пробуждения, и, в конце концов, он не узнает привычного движения солнечного света. Примеров нарастания этой несвязности житейских текущих дел, их распада можно назвать множество.

Самозванство традиционно в древнерусской литературе и через Гоголя у Достоевского в образном выражении предстает как акт перседевания. Парадные одежды Голядкина в конце действия ветшают, жизнь расплзается, как гнилая ткань. В свою очередь, мотив «перседевания», ветшания одежд героев, наблюдающих своих двойников, соседствует обычно с мотивом «братства»: бес представляется Савве его братом, стремится жить «как братья родные» с Голядкиным-младшим господин Голядкин-старший. Но одежды распадаются, а двойник становится заклятым врагом.

Действие в «Петербургской поэме» начинается с облачения господина Голядкина в парадные одежды. По мере развития событий одеяние героя портится, стареет, ветшает почти на глазах. Продуманность и новизна деталей туалета в первой главе сменяется в последующих главах их случайностью, разбросанностью и даже окончательной утратой («Калоша, оставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу...» (1; 139)). Перед заключительными сценами одежды героя приходят в полную негодность (1; 208). Обращает на себя внимание и то, что уже в первой главе господин Голядкин стремится спрятаться, укрыться в новых одеяниях (1; 113); когда же в трактире после прочтения письма от Клары Олсуфьевны он увидел растерзанность и ветхость своей одежды, то начал ощущать свою полную незащищенность от мира: «В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу...» (1; 208). Сцена в трактире завершается паническим бегством господина Голядкина-старшего. В заключительных сценах чувства незащитности и стыда, испытываемые героем, параллельно сопровождаются описанием тех деталей его одежды, которые утратили свои функции, например, шинели (1; 218) или шляпы (1; 219). Одежда ветшает и ветшает мир, последнее подчеркивается в сцене обнаружения господина Голядкина-старшего, когда «короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая» (1; 224); вдруг обнажает его фигуру, и он с ощущением физической и духовной наготы предстает перед теми, кто смотрит

на него сверху, при этом в повести отмечается, что стояние господина Голыкина-старшего под взорами гостей Олсуфия Ивановича — это мучение нравственного порядка: «И вдруг сгорел со стыда окончательно» (1; 224).

В «Повести о Горе-Злочастии», которая возникла на стыке книжных и фольклорных традиций, сцены одевания, раздевания и переодевания героя сопровождают основные перипетии его жизни. Нарушив заповеди своих родителей, ступив на стезю несправедливой жизни, он расстается со своими одеждами и облачается в нищенское тряпье.⁶ Когда его жизнь поворачивается в лучшую сторону, изменяется и одежда. Горе-Злочастие, явившееся ему во сне, убеждает героя опять переменить свою жизнь, а вместе с ней и одежду: «...а скинь ты платье гостинное, надежи ты на себя гунку кабацкую...»⁷ Последний этап жизни Молодца, заканчивающийся приходом героя, который стремится избавиться от Гора-Злочастия, в монастырь, начинается с песни Молодца, в которой он вспоминает свое существование в родительском доме, когда в его душе, сознании и ощущении мира царил гармония, а бытие и облик были целостны, а не эпизодичны и раздроблены. Образом тождественности самоощущения личности и ощущения сию окружающего мира становится для героя его облачение матерью в одежды, а по сути, сами эти одежды, одетые на него материнской рукой: «Безпечална мати меня породила, гребешком кудерцы розчесывала, драгими порты меня одеяла и отшед под ручку посмотрела, хорошо ли мое чадо в драгих портах? — а в драгих портах чаду и цены нет!»⁸

В гимне «Песнь о Жемчужине», воспеваемого по ходу действия в апокрифе «Деяния апостола Фомы», есть строки:

Ризу света, которой я совлекся,
и плащ мой, что на нее возлагаем. —

от Гирканских высот одежды сии
родившие меня прислали мне
руками доверенных казначесв,
избранных правдивости ради.

Я не помнил одежд тех, оставив их
в детстве моем в доме Отца моего, —

и, внезапно, явившись очам моим,
риза предстала как зеркало мое:
во всем существе моем я видел ее,
в ней же всецело лицезрел себя,
так, что в разделении были мы
и все же явлены в обличьи одном.⁹

В данном апокрифе, как отмечалось исследователями,¹⁰ Фома рисуется как близнец Христа. Обращают на себя внимание и следующие строки:

...и с братом твоим, в т о р ы м по сану,
наследник царствия нашего будешь...¹¹

Переодевание же господина Голядкина-старшего ведет его в совершенно ином направлении. Он утрачивает возможность даже увидеть себя в зеркале. Хаос и смута, царящие в сознании Голядкина, заводят его самозванно сперва в ресторан, потом на бал к «его превосходительству», и в обоих случаях повторяется одна и та же сцена: «...в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человек, — стоял он, стоял сам господин Голядкин, — не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин...» (1: 174). «В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился он, — известно кто...» (1: 216). Вместо своего отражения герой видит ненавистного двойника, вместо зеркала — двери, в которые его так неохотно впускают и так охотно прогоняют прочь. Его путь к самому себе и к своему дому бесконечен, ибо вместо своего образа он всегда видит двойника, находящегося в дверях.

Повесть начинается так: «Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна...» (1: 109). Этот своего рода изгнанник из рая ощущает окружающий мир или «спутанным», хаотичным или должен сделать некое усилие, чтобы прояснить «смуту», упорядочить хаос. Усилие было сделано. И произошла «подмена», самозванство, мир распался: пространство повести — это то мир удачливого, вездесущего, чувствующего себя как рыба в воде в великолепном чиновном Санкт-Петербурге двойника, то бессвязные, разорванные эпизоды-впечатления человека-«ветошки». Все «подменно» в сознании господина Голядкина-старшего: от отца земного, где он «подменный» сын — «принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца» (1: 196) — до другого «отца», таинственного и загадочного его благодетеля Олсуфия Ивановича Берендеева: как Адам с Евой приходили к вратам Рая, так и Голядкин в мечтах представлял себе следующее: «...дескать, так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благославите чету?» (1: 221). Он «подменно», самозванно пробирается на свадебный «пир» в дом своего благодетеля, Исаак Ниневийский, в русской традиции Исаак Сириянин, пишет: «Блаженный Павел учит нас так: «Совлекитесь ветхого человека и облкитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (ср. Еф. 4, 22; 24).

Он не говорит: «Облекитесь в нового человека поверх ветхого человека» <...> Одеванием же брачным именует Он ризу чистоты; а нечистые одеяния суть чувствования страстей в душе осквернившейся...»¹² Позволим себе еще процитировать несколько размышлений этого автора: «Кто в нечистые облечен одежды <...> пожест он проникнуть в услаждения мира иного, — будет внезапно осилен как бы мороком неким и ввергнут в место несветлое, какое зовется ад или Аваддон, сиречь неведение и забвение Бога»¹³.

Повесть о человеке-«ветошке», начавшаяся с его одевания и самозванного вторжения в действительность, завершается возвращением героя к самому себе, но обстоятельства этого возвращения ужасны: «...Когда же он очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса: было глухо и пусто. Вдруг он обмер: два огненные глаза смотрели на него в темноте; и зловещую, адскую радость блистали эти два глаза <...> — Ви получаете казенный квартир, с дровами, с лихт и с прислугой, чего ви недостойн...» (1; 229).

Проблема: «ветошка» ли человек — стояла перед Достоевским всю жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Повести Древней Руки. XI — XII века. Л., 1983. С. 191.
- ² От берегов Босфора до берегов Евфрата. М., 1987. С. 180.
- ³ Хрестоматия по древней русской литературе XI — XVII вв. Сост. Н.К. Гудзий. М., 1973. С. 400.
- ⁴ Там же. С. 400.
- ⁵ От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 263.
- ⁶ Хрестоматия по древней русской литературе XI — XVII вв. Сост. Н.К. Гудзий. С. 386-387.
- ⁷ Там же. С. 390.
- ⁸ Там же. С. 392.
- ⁹ От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 152.
- ¹⁰ Там же. С. 329.
- ¹¹ Там же. С. 148.
- ¹² От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 292.
- ¹³ От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 292-293.